

Сама жизнь

о книге Вальдемара Вебера «101ый километр, далее везде», СПб., «Алетейя», 2015

Так уж заведено, что подлинные события в нашей литературной жизни зачастую остаются незамеченными. Говорю об этом без сожаления, так как и сама эта «литературная жизнь» давно уже существует сама по себе, с ударением на первом слове – одно дело ли-те-ра-ту-ра, и совсем другое – жизнь. Жизнь живут, жизнь всё еще нас волнует, потому что мы всё еще живые, что же до литературы, то она давно уже до жизни не дотягивается, попросту говоря, не трогает, а если и трогает, то как-то необязательно, сиюминутно. И дело здесь, мне думается, не только в качестве текстов – пишут сейчас много и хорошо, – а в том, что литература, которая всегда была для нас чем-то большим, чем просто сочинительство, в двадцать первом веке всё чаще ограничивается именно производством текстов и «приращением смыслов», то есть становится средством, а не целью. Сказанное особенно очевидно на примере поэзии, которая давно уже потеряла своего читателя, оставаясь при этом сколь угодно умной, остроумной и своевременной. Но и в прозе ситуация не многим лучше. То есть книги по-прежнему пишутся, читаются и даже обсуждаются, но всё это происходит как бы между делом, в ряду прочего, не во-первых, а во-вторых, потому что во-первых – жизнь, а всё остальное – потом.

Такое положение дел, безусловно, сложилось не сегодня и не вчера, и не одно поколение писателей пытается найти выход из этой, казалось бы, безвыходной ситуации. Одно время казалось, что на смену художественному слову должен прийти документ, потому что только документу под силу сохранить «правду жизни», переставшую уместяться в рамках художественного вымысла. Возможно, это утверждение не далеко от истины, но стоит отметить, что писавший об этом Шаламов всё-таки был, прежде всего, художником, и в его как бы документальной прозе слишком сильно веяние того ветра, без которого любое документальное свидетельство остается всего лишь документом, то есть безжизненной материей. Бессилие документа особенно заметно сейчас, когда все мы живем как бы «документальной» жизнью, незаметно для самих себя превратившись в цветаевских «глотателей пустот, читателей газет». А что жизнь не есть документ и не есть факт, это понятно всякому, причем, прежде всего, на собственном примере: моя жизнь – это вовсе не то же самое, что любое сообщение о ней.

Мне кажется, что вся проблема как раз и кроется в этом «сообщении о». Когда-то Мандельштам заметил, что поэзия – это то, что не поддается пересказу. Действительно,

любой пересказ поэзию убивает, и дело здесь не только в том, что в пересказе теряется ритм, а в том, что поэзия не пользуется словами так, как ими пользуется обыденная или научная речь – слово в поэзии не является средством и слова не служат для передачи сообщений. Мне кажется, что подлинная проза, также как и подлинная поэзия, никогда, собственно, и не занималась только лишь сообщением о жизни, потому что всякое сообщение – это, в конце концов, частное дело, в отличие от жизни, которая никогда не бывает только частной, что, конечно, не означает, что жизнь у нас общественная – это всего лишь один из лозунгов современности – жизнь у нас, как это ни странно сегодня прозвучит, – общая. То есть, буквально: одна на всех.

Такое предисловие нужно мне для того, чтобы наконец поговорить об одной книге, которая осталась (и я думаю, останется) незамеченной именно потому, что она не имеет ничего общего с «сообщениями о» и именно поэтому не может стать объектом сиюминутного читательского интереса.

Речь идет о книге Вальдемара Вебера «101ый километр, и далее везде», вышедшей в 2015 году в издательстве «Алетейя».

Вальдемар Вебер – поэт и переводчик, бывший когда-то одним из ведущих германистов в нашей стране, сын этнических немцев, в настоящее время живущий в Германии. Его новая книга – это собрание рассказов-воспоминаний, в том числе, о родителях, русских немцах, о послевоенном детстве, проведенном в городе Карабаново: «До Москвы отсюда 101 километр. Те, кого в Москву после лагерей и тюрем не пускали, поселялись у нас».

Это собрание полусмешных - полупечальных историй о сложной и неустроенной жизни, о 40-х, 50-х, 60-х, о случайных и неслучайных встречах, о людях, о вере, о любви, снова о людях, русских и немецких, об отце Василии, о бабушке и дедушке, о дяде Паше, о военнопленном Густаве, о тете Фриде и тете Насте, о наладчике ткацких станков Иване Ильиче, о Райнхольде Бартули, возвращавшемся в 79 году в день всесоюзной переписи населения из Средней Азии в Туву:

Утром в вагон вошли с протоколами два казаха.

На первые вопросы Бартули ответил автоматически. Когда же казахи спросили: «Какой нации?» – он задумался. Посмотрел на выцветшие искусственные гвоздики в пластмассовой вазочке на купейном столике, испещренном следами от перочинных ножей, на репродукцию перовских охотников на стене, на желтые вылинявшие занавески со штампом МПС; взгляд его перенесся за окно на плоскую еще сумеречную степь с торчащими из-под снега колючками и ковылями, на редкие уродливые деревца вдоль

полотна дороги, – и ему почему-то вдруг вспомнилась мать, как пришла она к нему за день перед смертью в детский сад при трудовом лагере, мать-доходяга, в первый раз не принеся ему хлеба, вспомнились жестокие драки в детском доме в бурятском захолустье, бревенчатая школа с библиотекой из одной полки, первая прочитанная самостоятельно книга под названием «Алитет уходит в горы»

Казахи терпеливо ждали.

... затем был лесной техникум, работа лесником в Эвенкии, вой таежной выюги, 50-градусные морозы, еще позднее пединститут в Чите, где он заинтересовался своим происхождением, стал рыться в городских архивах, заказывать книги из других городов по абонементу, не знал, что органы уже с того самого времени начали следить за этим его интересом, что с тех пор, куда бы он ни переезжал, сотрудниками архивов передавался гебистам список заказанных им книг. Наконец, его арестовали за распространение рукописи об истории российских протестантских сектантов. Отсидел пять лет, преподавать историю ему запретили, и он вернулся к своей прежней профессии лесника, нашел место под Кызылом, жил бобылем. Ни о своих предках, ни о своей погибшей в трудовой и Гулаге семье он так толком ничего и не разузнал...

И Райнхольд Бартули ответил:

– Шумер.

Замечу сразу, что цитирую лишь потому, что невозможно удержаться. Уникальность этой книги не только в ее пронзительности, но и в том, что это именно книга, то есть нечто целое, а не сборник отдельных рассказов. Сами по себе отдельные рассказы, действительно, чудо как хороши (некоторые из них, кстати, были опубликованы задолго до выхода книги в свет («Новый мир» 3, 2011; «День и ночь» 6, 2011; «Нева» 8, 2011; «Дружба народов» 7, 2012; «Крещатик» 1(63), 2014), но собранные все вместе под одной обложкой они представляют собой нечто большее, чем просто собрание воспоминаний. Это большее не поддается цитированию и пересказу, так как это и есть, на мой взгляд, то, что можно назвать самой жизнью, а не «сообщением о». Дело здесь, я думаю, не только в том, что то, что рассказывается, невозможно отделить от того, как это рассказывается. Нельзя не отметить, что рассказы Вальдемара Вебера написаны очень хорошо, в них нет ничего лишнего, все слова здесь точные, всё попадает в цель, и это важно для литературного произведения, это и составляет его художественную ценность. Но помимо художественной ценности есть в этой книге и другое, и именно это другое делает собрание рассказов книгой, не сборником текстов, а поступком.

Это «другое» есть ни что иное, как голос. Я имею в виду, конечно, не «голос автора», понятый с какой-то литературоведческой точки зрения, я имею в виду именно человеческий голос. Собственно, этот голос, эта интонация сродни той, которая звучит в лучших верлибрах поэта Вебера:

Когда мы играли в войну
мне приходилось мириться с тем,
что я вечный Гитлер.
Семе Грановскому
отводилась роль тыловика-снабженца,
в паузах он приносил из дома
блинчики с чесноком,
что так неподражаемо пекла его мать,
иначе Сему не принимали.
А нам так хотелось
Брать Берлин и Потсдам!
Он был мой одноклассник,
но опытней и мудрей,
и уже знал,
что ради общего дела
нужно жертвовать личным.
И в конце ему позволялось
вместе со всеми кричать «ура».

Иногда мне кажется, что вся тайна, вся кровь и плоть литературы в высоком смысле этого слова – это и есть тайна человеческого голоса. У документа, у факта, у сообщения голоса нет. Голоса нет и у человека, понятого как субъект прав и свобод, нет голоса у автора или у текста, потому что голос – это всегда личность. Я бы сказала – это только личность, то есть то в человеке, что превышает в нем все частности.

Меня могут спросить, что же значит такой голос там, где он есть, о чем он, этот голос, нам сообщает. Но в том-то всё и дело, что голос – это не то, что сообщает, это то, что звучит. Точно также жизнь – это не последовательность дней и событий, не собрание историй, а сама история.

Немецкий философ Мартин Хайдеггер в своей самой известной книге «Бытие и время» назвал такой, ни к чему не призывающий голос, зовом совести. Впрочем, Хайдеггер не был бы философом, если бы не уточнил, что понимать такое заявление следует именно философски, а не аксиологически, то есть с такой абстрактно-философской, а вовсе не конкретно-этической позиции. Но мы не философы, и с абстрактным мышлением у нас давние проблемы. Мы привыкли выражаться не понятиями и даже не словами, и какой-нибудь поэтический вздох – «Наша совесть ... Наша совесть...» – нам куда понятнее любого философского высказывания.

Именно этот голос – могу теперь заключить – слышен мне в книге Вальдемара Вебера. Не в том смысле, что книга эта к чему-то там призывает или учит жизни, а в том

смысле, что то целое, к которому она стремится и которое остается после её прочтения – это не поддающееся пересказу ощущение общности – жизни, судьбы, истории. Эта общность выше любых обстоятельств времени и места, потому что она указывает на внутренне единство мира и жизни, на тот простой факт, что жизнь одна на всех и любое в ней разделение и разобщение – это пустая внешность, видимость и неправда.

В книге Вебера нет разделения на своих и чужих, русских и немцев, «правильных» и «неправильных». В ней нет мелочной обиды на жизнь и на историю, нет жалоб, приговоров и осуждений, нет «частного мнения» и «частного взгляда», при том, что сама книга – глубоко личная, и рассказывает она о том, что было, о конкретных людях и их судьбах. Эта книга напоминает нам о том, что люди не делятся на «людей» и «не людей» (по крайней мере, самими людьми) и что человек заслуживает, прежде всего, любви и жалости, что вообще жизнь – это, прежде всего, любовь, милость и жалость, и что всё прочее в жизни, вся её кровь и все её слезы, уместаются в этих трех – любви, милости и жалости. Вот почему чтение этой удивительной книги сопряжено с острым ощущением сопричастности читающего всему происходившему и происходящему в нашей истории, сопричастности, которая выражается в том, что, читая, мы как бы погружаемся в стихию самой жизни, той самой, которая не делит нас на «ваших» и «наших» и, равным образом, не делит нашу историю на «вашу» и «нашу», потому что и жизнь, и история – это всегда целое, которое не есть простая совокупность частей, то есть частных, а есть наше общее дело.

Книга Вальдемара Вебера как нельзя кстати напоминает нам о том, что, в конечном счете, единственный голос, к которому стоит прислушиваться, это голос самой жизни, который – и только он один – звучит сегодня мужественно и благородно.

Мария Козлова